

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Тётушка

Знали бы вы тётушку – прелесть что такое! То-есть прелесть не в обыкновенном смысле слова, не красавица, а милая, славная и, по-своему, презабавная. Вот над кем можно было пошутить, посмеяться! Хоть сейчас сажай её в комедию! И всё это потому только, что она жила лишь театром и всем, что к нему относится. Вообще же тётушка была особа почтенная, даром что агент Болман, или «болван», как звала его тётушка, величал её «театральной маньячкой».

– Театр – моя школа, – говаривала она: – источник моих познаний. Благодаря театру, я освежила своё знание священной истории: «Моисей», «Иосиф и его братья» – это всё, ведь, оперы! Благодаря театру, я познакомилась и со всемирной историей, и с географией, и с психологией! Из французских пьес я узнала парижскую жизнь; легкомысленна она, но в высшей степени интересна! Как я плакала над «Семейством Рикебур»! Подумать только – герой допивается до смерти, чтобы героиня могла выйти замуж за любимого человека! Да, много слёз я пролила за те пятьдесят лет, что абонируюсь!

Тётушка знала каждую пьесу, каждую кулису, каждого актёра, который выступал на сцене теперь или прежде. Она жила, собственно говоря, только девять месяцев в году; летние три месяца, театральные каникулы, прямо таки старили её, тогда как один вечер в театре, затягивавшийся за полночь, просто молодил. Она не говорила, как другие люди: «Вот скоро придёт весна!» «Аист прилетел!» «В газетах уже пишут, что появилась свежая земляника!» Она, напротив, приветствовала осень: «Видели, абонемент уже открыт?.. Скоро начнутся представления!»

Достоинство и удобство квартиры она измеряла близостью её к театру. Как горько было ей оставить маленький переулок, проходивший позади театра, и переехать в большую улицу немного подальше, да вдобавок поселиться в доме без визави^[1].

– Я и дома хочу иметь свою ложу – окошко! Нельзя же всё с самою собою рассуждать, надо и на людей поглядеть! А вот теперь мне приходится жить, точно в деревне, в захолустье! Если мне вздумается посмотреть на людей, приходится взлезать на кухонный стол – только оттуда я и вижу соседей. То-ли дело было в переулке! Там из моего окошка открывался вид прямо в квартиру торговца льном, да и до театра было всего три шага, а теперь целых три тысячи и каких ещё – гвардейских!

Случалось тётушке и захворать, но как бы плохо она себя ни чувствовала, пропустить представления всё-таки не могла. Раз доктор предписал ей поставить себе вечером к ногам кислое тесто. Она поставила, но в театр всё-таки поехала и высидела всё представление с тестом на ногах. Умри она в этот вечер, она была бы даже довольна. Ведь, умер же в театре Торвальдсен, и такую смерть она называла «блаженною».

Тётушка и рая не могла себе представить без театра. Конечно, нам этого не обещано, но, ведь, довольно же правдоподобно, что для прекрасных актёров и актрис, которые отправились туда до нас, найдётся и там арена деятельности!

В комнатку тётушки была проведена из театра своего рода электрическая проволока; телеграмма являлась каждое воскресенье к кофе. Проволокою служил господин Сивертсен, театральный машинист, подававший сигналы к поднятию занавеса, перемене декораций и проч.

От него-то тётушка и получала краткие, но вразумительные сведения о репертуаре. «Бурю» Шекспира он звал «чертовщиной»: столько хлопот с ней! В первом же действии – «море вплоть до первой кулисы!» Это он хотел объяснить, как далеко должны были заходить волны морские. Если же сцена во всех пяти действиях изображала всё одну и ту же комнату, он называл такую пьесу разумною, толково написанною, на которой можно отдохнуть. Она, дескать, играется сама собой, без всяких фокусов.

В прежние времена – то есть лет тридцать тому назад – когда и сама тётушка и вышепоименованный господин Сивертсен, уже и тогда служивший машинистом, были помоложе, он – по словам тётушки – был настоящим благодетелем для неё. В те времена в единственном большом городском театре существовал обычай

допускать зрителей на особые места, находившиеся под потолком, по обеим сторонам сцены. Каждый машинист располагал там местом или двумя. И места эти зачастую бывали битком набиты самую избранною публикою; говорили даже, что туда жаловали генеральши и коммерции советницы. Ведь, так интересно было заглянуть за кулисы, увидеть, как держат себя герои сцены после того, как занавес опустится!

Тётушка частенько бывала там, когда шли трагедии и балеты; в этих пьесах участвовала наибольшая часть труппы, и на них-то особенно интересно было смотреть сверху. Зрители сидели там в потёмках, но очень удобно; почти все запасались закуской на ужин, и однажды в темницу Уголино, где он должен был умереть с голода, упала колбаса и три яблока! В публике, конечно, надорвали животики со смеху. Вот эта-то колбаса и была одною из главнейших причин, по которым дирекция закрыла для зрителей места наверху.

— Но я всё-таки успела побывать там тридцать семь раз! — говорила тётушка. — И никогда я не забуду этого господину Сивертсену!

В последний вечер, когда места под потолком ещё были открыты для публики, давался «Суд Соломона»; тётушка отлично помнила это. В этот раз она, благодаря любезности господина Сивертсена, достала входной билет для агента Болмана, хоть он и не заслуживал этого за своё зубоскальство и вечные насмешки над театром. Но ему очень хотелось видеть «театральную канитель с изнанки». Он именно так и выразился, и это было куда как похоже на него — говорила тётушка.

И вот, он увидел «Суд Соломона» сверху, да и заснул там. Право, точно он пришёл в театр с большого обеда, за которым было провозглашено пропасть тостов! Итак, он заснул, проспал конец представления, и его заперли в тёмном, пустом театре.

— Когда я проснулся, — рассказывал он потом (тётушка, впрочем, не верила ни единому его слову) — «Суд Соломона» был кончен, все лампы и свечи потушены, весь народ разошёлся, но тогда-то и началось настоящее представление — эпилог. И это было всего интереснее! Всё ожило, пошёл уже не «Суд Соломона», а «Страшный суд в театре».

И подобной ерундой агент Болман думал морочить тётушку – в благодарность за то, что она устроила его под потолком!

Всё, что рассказывал агент, могло со стороны показаться довольно забавным, но в сущности-то за всем этим скрывалась одна злая насмешка.

– Темно там было наверху! – рассказывал он. – Но вот началось волшебное представление «Страшный суд в театре». У дверей стояли контролёры и требовали у каждого из зрителей аттестат, чтобы удостовериться, имеет ли он право входить в театр не связанный по рукам и без намордника. Господа, являющиеся в театр слишком поздно, – трудно, ведь, сообразоваться с временем! – привязывались у входа и подковывались войлочными подошвами, чтобы могли без шума войти в театр в начале следующего действия. Кроме того, на них надевались намордники. Затем, начался «Страшный суд».

– Всё только ехидничанье и злость, неугодные Господу Богу! – ворчала тётушка.

Агент же продолжал:

– Декоратор, желавший попасть на небо, должен был взбираться на него по им самим нарисованной лестнице, а лестница-то эта являлась сплошным отрицанием всяких законов перспективы! Заведующий же монтажной частью, прежде чем попасть на небо, должен был перенести в подходящие места все здания и растения, водворённые им в несоответствующие страны, – и всё это раньше, чем пропоёт петух!

– Господину Болману следовало бы лучше заботиться о том, как бы самому-то попасть на небо!

Вообще всё, что он рассказывал об актёрах – и комических, и драматических, о певцах и балетных танцорах было – по словам тётушки – со стороны Болмана (болвана!) чёрною неблагодарностью! Он не заслуживал счастья попасть «наверх»! Тётушка не желала даже повторять его сквернословия. А он уверял, что всё это записано и попадёт в печать после его смерти – не раньше! Не то тётушка, пожалуй, загрызёт его!

Только один раз довелось тётушке набраться страха в своём храме блаженства – театре. Дело было зимою, в один из коротких «двухчасовых» серых дней. На дворе стоял холод, шёл снег, но

тётушке непременно надо было попасть в театр. Давали «Германа фон-Унна», небольшую оперу и большой балет, да ещё пролог и эпилог вдобавок. Спектакль должен был затянуться до поздней ночи. Как же пропустить такое представление? К тому же квартирант тетюшки снабдил её парой высоких меховых сапог, заходивших ей за колена.

Тётушка явилась в театр, уселась в ложу, но сапогов не сняла, хоть ей и жарко было в них. Вдруг закричали: «Пожар!» Из-за одной кулисы и под потолком показался дым. Поднялся переполох. Тётушка осталась последней в своей ложе – второго яруса с левой стороны; оттуда декорации смотрят красивее – говорила тётушка – их, ведь, ставят так, чтобы они выглядели лучше из королевской ложи! Наконец, и тётушка добралась до двери, но оказалось, что зрители, выскочившие раньше, заперли её за собою впопыхах. Тётушка очутилась в западне. Прямо в коридор выйти было нельзя, через соседнюю ложу тоже, – перегородка была слишком высока. Тётушка закричала, никто не услышал. Она заглянула вниз, в следующий ярус, там тоже было пусто, но до него было близко, просто рукой подать. Тётушка от страха вдруг помолодела, почувствовала себя такою лёгонькою, проворною и совсем уж собралась было перелезть через барьер вниз, даже перекинула через него одну ногу, а другую поставила на скамейку. Так она и сидела словно верхом на лошади, такая нарядная, в платье с цветочками, свесив вниз ногу в необъятном меховом сапожище! То-то была картина! Когда на неё обратили внимание, услышали и крики тётушки, и она была спасена от опасности сгореть – со стыда, так как театр и не думал гореть. По её словам это был самый памятный вечер в её жизни. И хорошо, что она тогда не могла видеть самое себя, – она бы умерла со стыда.

Благодетель её, машинист Сивертсен, приходил к ней каждое воскресенье, но от воскресенья до воскресенья долго было ждать, и вот, тётушка стала в последнее время приглашать к себе по средам «кормиться» (т. е. пользоваться остатками от стола) маленькую девочку. Девочка участвовала в балетах и тоже нуждалась в пище. Выступала она в ролях эльфов и пажей; труднейшею же ролью её была роль «задних лап льва» в

«Волшебной флейте». Потом она доросла и до передних лап, но за них ей платили уже только три марки разовых, тогда как задние лапы оплачивались целым риксдалером^[2]. Зато, исполняя их, ей приходилось сгибаться в три погибели и задыхаться! Всё это тётушку живо интересовало.

Она бы заслуживала прожить до самого закрытия старого театра, но нет, не выдержала! Не пришлось ей и умереть там! Умерла она чинно и благородно в собственной постели. Последние слова её были, впрочем, довольно таки характерны. Она спросила: «А что идёт завтра?»

После тётушки осталось что-то около пятисот риксдалеров. Так мы заключаем из процентов на капитал, составлявших двадцать риксдалеров. Их завещала тётушка в виде пожизненной пенсии достойной, старой безродной девице с тем, чтобы она абонировалась на одно место в ложе второго яруса с левой стороны, и непременно на субботние представления, – тогда даются лучшие пьесы. На пенсионерку налагалось лишь одно обязательство – поминать по субботам в театре покойную тётушку.

Так вот чему поклонялась и служила тётушка всю свою жизнь!

^[1] Визави – здесь, без дома напротив.

^[2] Риксдалер равнялся шести маркам.

